

# ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

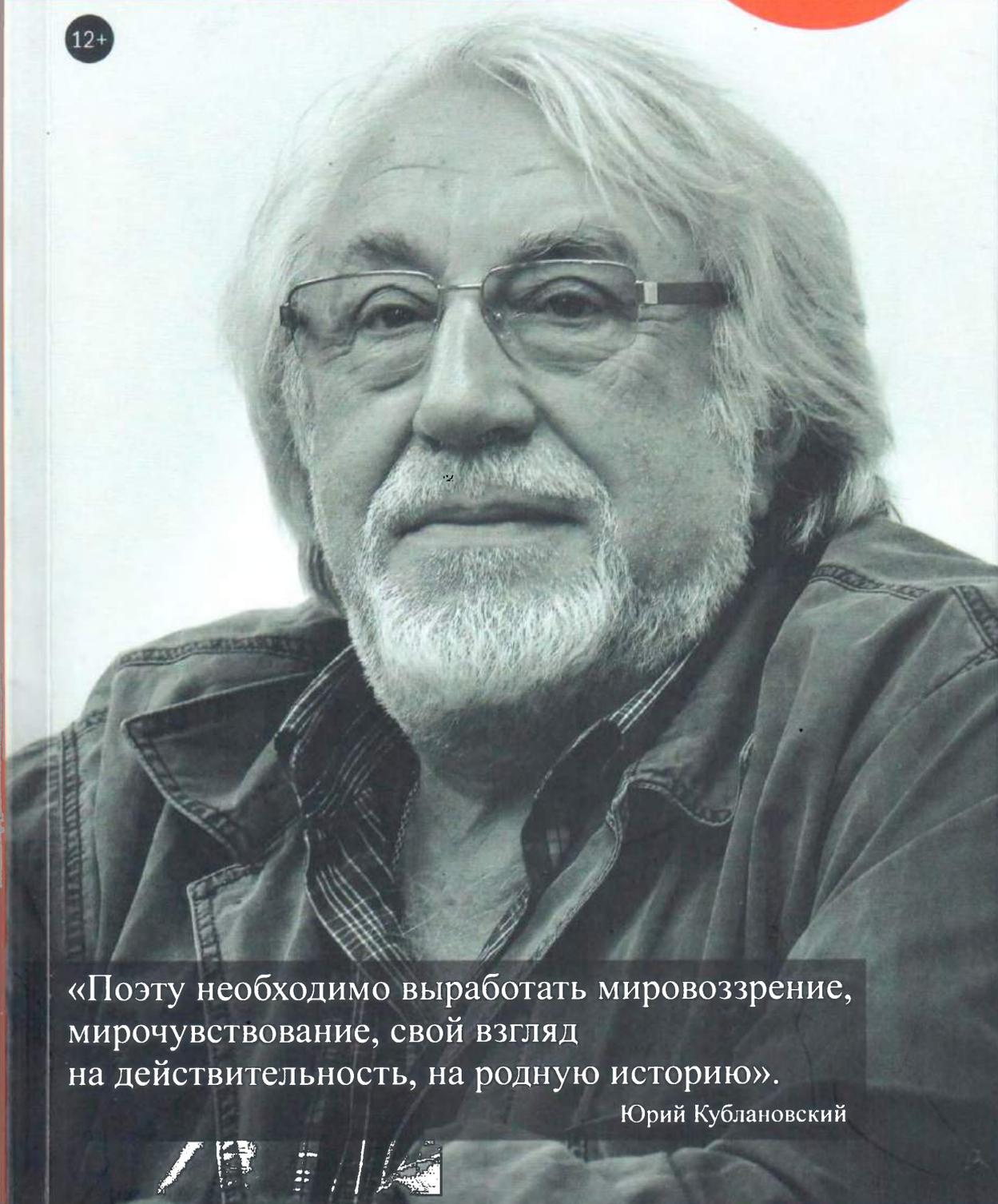
ЛИТЕРАТУРНО-  
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ



№3 / книга третья / май-июнь 2016

[www.lych.ru](http://www.lych.ru)

12+



«Поэту необходимо выработать мировоззрение,  
мирочувствование, свой взгляд  
на действительность, на родную историю».

Юрий Кублановский

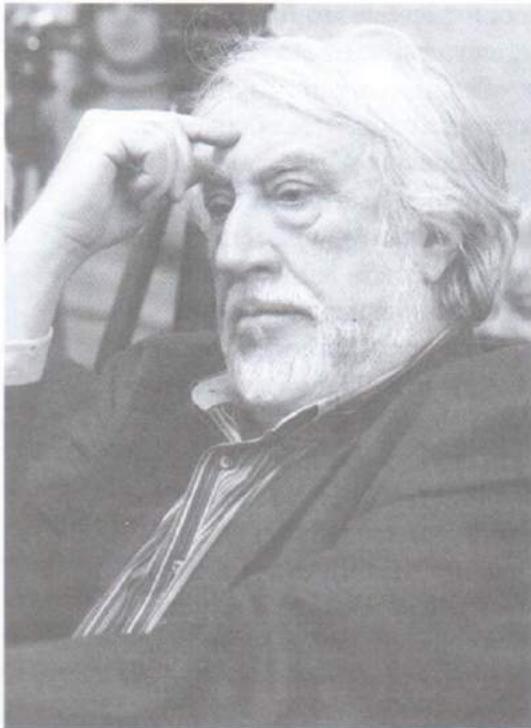
Юрий Кублановский – поэт и публицист. В середине 60-х годов прошлого века был одним из организаторов неофициальной поэтической группы СМОГ (Смелость, Мысль, Образ, Глубина), печатался в основном в самиздате и за рубежом. В 1982 году под давлением КГБ эмигрировал на Запад. Вернулся при первой же возможности, в 1990-м, когда его стихи стали печатать на родине. Автор многих поэтических сборников. Стихи Кублановского высоко оценены Иосифом Бродским, Александром Солженицыным, Фазилом Искандером, Семёном Липкиным и другими. Лауреат престижных литературных премий.

## Юрий Кублановский: «Стремлюсь к новизне в каноне»

### Ветерки свободы

– Юрий Михайлович, своё поколение Вы определили как «самое халявное», поскольку оно не пережило ни войны, ни трагических общественных испытаний, ни лагерей... Действительно, это первое «непоротое» советское поколение, хотя об относительности приведённых определений свидетельствует, например, Ваша судьба – вынужденная эмиграция после публикаций стихов в самиздате и тамиздате, открытого письма в поддержку Солженицына и т. п. Здесь есть грань, которая имеет прямое отношение к самоопределению творческой личности. Вы, например, в юном возрасте встали на путь противостояния коммунистическому режиму. И любопытно узнать, как это отразилось на Ваших отношениях с родителями, которые, кроме всего прочего, наверняка за Вас опасались, предвидя, какими испытаниями и опасностями чреват подобный выбор?..

Я родился и вырос в Рыбинске, в провинциальной семье – с одной стороны вполне советской: и отец, и мать были членами коммунистической партии, а с другой – в нашем доме вполне себе гулял какой-то сквознячок свободы, возможно, обусловленный их интеллигентностью. Мама, преподаватель литературы, любила раннего Маяковского, Есенина – их стихи нередко читала вслух, интересовалась новинками литературы. Помню, скажем, как она читала только-только вышедших «Коллег» Василия Аксёнова – так я впервые узнал это имя. Она была по натуре общественница – домой к нам постоянно приходили старшеклассники, её ученики и поклонники, приходили и читали стихи. Да и сам я был неравнодушен к поэзии, например, знал наизусть поэму Константина Симонова «Сын артиллериста», и



даже декламировал её перед публикой, чтение занимало около часа. Отец – по профессии актёр – в своё время занимался в студии Мейерхольда... Так что сквознячкам богемности в нашей семье было откуда взяться.

А если копнуть глубже, то, например, – земляки это совсем недавно обнаружили, – что с конца XVII столетия мои предки по материнской линии принадлежали к сельскому и уездному духовенству. Меня в младенчестве крестила бабушка – с ведома ли мамы, не знаю. Шёл 1947 год, бедное и беспокойное послевоенное время.

А лет с 13–14 началась моя прятки с мамой. Отец уже уехал

от нас в Вятку. Мы жили втроём: мать, я и бабушка, которая была существом смиренным – в отличие от напористой, активной мамы. По мере взросления всё больше проявлялись и у меня порывистое стремление к независимости, чересчур, возможно, горячая жажда справедливости, безапелляционность суждений и прочие «прелести» подросткового возраста... Понятно, что мы с мамой по-разному воспринимали многие жизненные явления, культурные события того «оттепельного» времени... Я был единственный сын, за которого она, конечно, очень боялась, имея за спиной подневольную советскую жизнь и репрессированных родственников.

**– Подростковый бунт, как и беспокойство родителей за своё чадо, – вещи вполне естественные, обусловленные природой...**

Но естественный страх усиливался опытом пережитого этим поколением. Среди моих предков были репрессированные при советской власти, о чём в детстве мне, естественно, не рассказывали. Я был, повторяю, большой правдолюбец. Помнится, в классе седьмом, будучи председателем совета пионерского отряда, столкнувшись с явной несправедливостью, я публично со-

рвал бордовые «лычки» с рукава своей формы, это был громкий школьный скандал... Собственно, с него всё и началось.

Дома у нас был радиоприёмник «Рекорд», я стал слушать западные «голоса» – всё больше интересовался тем, чем советскому отроку не полагалось. Ещё один перелом в моём сознании случился в 1962–1963 годах, когда Хрущёв выступил с разгромом «оттепельной» интеллигенции. Я уже к тому времени читал «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга в «Новом мире», выписывал оттуда незнакомые имена: Сутин, Мандельштам, Модильяни... Как и для многих других, для меня эренбурговские мемуары стали своего рода ликбезом... И вдруг Хрущёв обрушивается именно на эту книгу, на Аксёнова, Вознесенского... А я уже читал в журнале «Знамя» «Треугольную грушу» Андрея Вознесенского, его лирическая «неортодоксальность» произвела сильное впечатление. То, что у Вознесенского были проленинские стихи, меня тогда не беспокоило – я был ещё не настолько зрел, чтобы понимать, что такое большевизм, коммунизм. Весь мой «антисоветизм» укладывался в антисталинизм, то есть я был типичным отпрыском XX съезда, когда Хрущёв очень дозированно разоблачил преступления сталинского режима.

Родись я лет на пять-семь раньше, мог бы и загреметь куда следует. Тем более что Рыбинск был режимным городом с весьма серьёзным местным КГБ. Достаточно сказать, что там уже после XX съезда была в очередной раз арестована Анна Васильевна Тимирёва – возлюбленная адмирала Колчака. Между прочим, в общей сложности она провела в тюрьме около сорока лет. Я видел её, когда был ребёнком, она работала в Рыбинском городском драмтеатре, где мой отец Михаил Наумович пользовался большой в нашем городе известностью как яркий своеобразный актёр – в амплитуде от роли Ленина до героев Шиллера и Лопе де Вега.

### **С перепугу стал студентом**

Поскольку я не стеснялся выражать свои антисталинские взгляды в то время, когда ползучий сталинизм постепенно возвращался в политику и повседневную жизнь, обстановка вокруг меня накалялась всё больше. Комсомольцем я не был. Слава Богу, наступил 1964 год, когда мне надо было поступать в вуз, а значит, покидать косный и опостылевший к тому времени Рыбинск. Я в это время – после семилетки и провального семе-

стра в местном авиатехникуме – работал токарем на заводе, а вечером занимался в школе рабочей молодёжи – трудовой стаж вскоре пригодился при поступлении в вуз.

Я выбрал было Литературный институт, но Вознесенский мне отсоветовал: на поэта не учатся – это не профессия. И был, конечно же, прав...

**– Минуточку, откуда взялся в Вашей жизни Вознесенский?**

Дело в том, что пятнадцатилетним мальчиком я втайне от матери ездил в Москву к Илье Эренбургу и Андрею Вознесенскому: захотелось их поддержать после хрущёвского разноса и газетного улюлюканья.

**– Мальчик просто захотел и поехал?**

Ну да, а что тут сложного? Билет от Рыбинска до Москвы стоил два рубля с полтиной. Приехал в столицу на позднем зимнем рассвете, ещё темно. В Мосгорсправке у Савёловского вокзала взял адрес Вознесенского. Как сейчас помню: улица Нижняя Красносельская, дом 45, квартира 45. Расспросил, как туда добраться. Приехал, а время ещё раннее, клацаю на морозе зубами, дождался 10 часов, позвонил в дверь, он мне открыл. У нас был памятный мне и посейчас разговор, Андрей Андреевич подарил мне свою книгу. А потом так же взял в справочной у метро «Бауманская» адрес Эренбурга и поехал к нему на улицу Горького, в дом, где книжный магазин «Москва». Сейчас там мемориальная доска... Илья Григорьевич меня спросил: «Какие писатели, молодой человек, Вам нравятся?». Я ответил: «Натали Саррот, Ален Роб-Грийе и Мишель Бютор...»

**– И что Ваш собеседник?**

У старика трубка выпала изо рта... А фрагменты произведений названных авторов, представителей французского «нового романа», только-только появились в журнале «Иностранная литература». Я их проштудировал – не для встречи с мэтром, конечно, а из искреннего интереса, – они произвели яркое впечатление.

**– Но вернёмся к поступлению в вуз...**

Надо сказать, что я до этого несколько лет занимался в студии – акварелью, рисунком, знал уже, куда положить мазок, капнуть краску, чтобы она потекла в нужное место и красиво слилась с другой каплей... Но с тех пор, как я стал писать стихи, я «разучился» рисовать, как отрезало. Видимо, музы не прощают предательства. Так что художественный факультет также

отпадал. И я решил поступать на искусствоведческое отделение МГУ, не понимая, что это место сверхэлитарное, куда зашкаливавший конкурс. Как раз в тот год ввели новый экзамен – по истории искусств, которую в школе, конечно, не проходили. В Третьяковской галерее и Пушкинском музее я впервые побывал буквально накануне вступительных экзаменов. Правда, один рыбинский преподаватель истории, Лев Соломонович Кример, посоветовал мне съездить на Владимирщину, посмотреть тамошние древние храмы. Я поехал и действительно был потрясён храмом Покрова-на-Нерли, Дмитриевским и Успенским соборами... Что мне впоследствии пригодилось на экзаменах, которые я сдал на «пятёрки».

Поступление было почти чудом, ведь мать перед отъездом сказала: дело зашло так далеко, что три года в армии тебя не исправят, поэтому пойдёшь служить на дальневосточную подводную лодку на четыре года, о чём уже есть договорённость в военкомате. В общем, можно сказать, с перепугу я стал студентом.

– Удалось ли потом наладить нормальные отношения с мамой?

Нет, конечно, ведь в неприятии советской идеологии я шёл всё дальше и дальше...

– А потом, после возвращения из эмиграции?

Она была уже слишком старой, ослепла, любила меня безумно... А я был нищ и не мог помогать ей достойно. Это вечная моя боль.

### **Объятые СМОГом**

Итак, в 1964 году я поступил в МГУ. К тому времени уже полтора-два года сочинял стихи. Писал, конечно, «на ощупь». Потому что многого просто не знал: ни «Поэмы без героя», ни кто такой Ходасевич... В воспоминаниях Эренбурга прочёл, повторяю, о Мандельштаме, но стихи его не печатались. Впрочем, я купил в Рыбинске том Иннокентия Анненского, выпущенный в серии «Большая библиотека поэта», а до этого Константина Случевского – предтечу Анненского, читал ещё «Сестру мою – жизнь» Пастернака... Но в моём знании стихов Серебряного века были большие пробелы, я скорее угадывал, чем осознавал его дух. И вообще футуристическое восприятие мира, – где шла сильная ломка образов, как у раннего Пастернака или даже в некоторых стихах Анненского, – было мне тогда мало понятно:



Мы организовали сообщество «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» (СМОГ), а остроумцы прозвали нас «Самое молодое общество гениев».

старался вчитаться, но полюбить не умел. Но была уверенность, что мои стихи должны отличаться от советского болота, которое плескалось вокруг, – а это десятки, сотни стихотворцев, почти не отличавшихся по манере друг от друга. Я уже чувствовал необходимость метафор, испытывал потребность какого-то чуда...

Начинал с верлибра. Стихи, которые я привёз Вознесенскому, были в основном написаны верлибром, хотя попадались и рифмованные: *«Я рыцарь польки и мандолин, глаза как дольки мандарин»... Или: «Есть город Токио, а есть Одиноко, но не заходят туда корабли. В зимнем городе одиноко, ходят голые короли...»* Это строчки 15-летнего шалопаю.

– ...**Которому суждено было стать одним из отцов-основателей знаменитого СМОГа...**

Мне удивительно повезло: на первом же курсе я встретился с такими поэтами, как Леонид Губанов и Владимир Алейников. Нам было по 17–18 лет. Мы решили (кажется, это была идея Лёни Губанова) организовать независимое поэтическое содружество, полуинтуитивно понимая, что идти по пути «шестидесятников», постоянно увязая в компромиссах, неизбежных в работе с советскими издательствами, испытывая произвол цензуры и её идеологические капризы, – это не для нас.

Тогда свергли Хрущёва, и начался новый период, который впоследствии окрестили «застоем». Но в самиздате застоя не было. Мы, собственно, были одними из первых поэтов-самиздатчиков. Конечно, уже «ходили» – на папиросной бумаге с бледной машинописью – ранние стихи Бродского: «Пилигримы», «Рождественский романс», «Большая элегия Джону Донну». Кстати, тогда они не произвели на меня большого впечатления.

И вот мы организовали сообщество «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» (СМОГ), а остроумцы прозвали нас «Самое молодое общество гениев». Конечно, мы – по возрасту – не могли представить какую-то общую поэтическую платформу, да такие манифесты, как правило, и не удаются. Если сейчас перечитать манифесты футуристов, имажинистов, видно, какая это туфта. И вообще я вскоре понял, что поэтическое сообщество – это не

моё... Гений свой следует воспитывать в тиши, как учил Пушкин.

Но в пору юности надо всё-таки чувствовать плечо товарищей, общаться, что мы охотно и делали, не пренебрегая при этом алкоголем и табаком. А ещё много выступали – и в библиотеках, и в частных домах.

**– Что значит – в частных домах?**

Тогда было немало людей, в основном богемных дам, которые устраивали в своих квартирах встречи с творческой молодёжью, подающей надежды, – с бардами, певшими под гитару, поэтами, декламировавшими стихи, художниками, выставлявшими свои картины. Это было специфическое явление, похожее на священнодействие, когда при неверном огне свечей читаешь, полузакрыв глаза, недавно написанное... Это происходило в 1965–1967 годах, постепенно сходя на нет, как по житейским причинам, так и из-за ужесточения режима. Может быть, поэтому мне удалось, несмотря на принадлежность к СМОГУ, окончить Московский университет достаточно благополучно, правда, уже вечернее отделение.

Вскоре СМОГ стал дробиться на тех, кто воспринимал наше сообщество как социально-политическое движение, и на тех, кто понимал, что ещё рано нам громыхать и следует оставаться в рамках литературы. Хотя неприятие режима возрастало по мере того, как мы узнавали о масштабах репрессий 20–30-х годов. Это не укладывалось в сознание, и кулаки сжимались. Но я лично считал, что «выходить на площадь» рано: сожрут – не подавятся. А надо сначала нарастить культурную мускулатуру, укрепнуть мировоззренчески, а там как Бог даст... И действительно, я громко выступил против коммунистического режима только в 1974 году, когда написал открытое письмо «Ко всем нам» в поддержку Александра Исаевича Солженицына, приуроченное к двухлетию его высылки из СССР. Тогда я почувствовал, что созрел для такого шага. А до того я вёл, так сказать, сначала рептильное, а потом маргинальное политическое существование.

**Окунуться в... Россию**

**– А как складывалась жизнь после окончания МГУ?**

Университет я окончил в 70-м году и, как искусствовед, имел возможность выбирать место музейной работы. И тогда уехал на Соловки. Как потом оказалось, это было очень правильное,

хотя и чисто интуитивное решение: порвать со столичной колгогнёй, богемой, с её соблазнами, пьянками-гулянками и т. п. и окунуться в... Россию.

О новом месте, о том, чего же там ждать, у меня было очень смутное представление, что такое советский концлагерь – первый большевистский концлагерь на Соловках, – только там мне и приоткрылось. Впрочем, как и многовековая история насыщенной монастырской жизни. Картина русского мира собиралась по крохам – сквозь цензуру и шоры идеологии.

Я вернулся в Москву другим человеком. А в столице появилась возможность читать Александра Солженицына, тамиздавательские труды русских религиозных философов. И в конце 1974 года я решился наконец выступить в поддержку Солженицына, который к тому времени был выслан и жил на Западе. Открылся, как говорится, новый период жизни.

В те же годы состоялось знакомство с отцом Александром Менем, который стал моим духовником, и произошло моё неопитское воцерковление. Я окончательно осознал, что поэзия – это не просто села птичка на ветку и поёт. Поэту необходимо выработать мировоззрение, мироощущение, свой взгляд на действительность, на родную историю. У меня это – антикоммунистический патриотизм, почвенное ощущение жизни. Тогда это окрепло и сохраняется по сей день. Мировоззрение не простое: в ту пору я оказался в жёсткой оппозиции советскому режиму, после его обрушения – в оппозиции либералам, поддержавшим криминальную революцию 90-х. Впрочем, простите, я забежал вперёд.

**– Общаясь с отцом Александром, Вы обсуждали какие-либо темы, кроме связанных с религией и верой?**

Я говорил отцу Александру, чего хотел бы добиться в поэзии. Ведь по мере того, как фокусировалось моё мировоззрение, формировался и стиль, а стиль – это человек. И я понял, чего хочу: с одной стороны – верности канону, но чтобы каноничность моих стихов ни в коем случае не была эклектичной. Я понимал необходимость свежести каждого эпитета, образа, определения. И тогда у меня отлилась формула, которая с тех пор всегда со мной: *новизна в каноне*. Я стараюсь достигать подспудной необычности, оставаясь в каноне русской поэзии. Тогда это закладывалось и воплотилось, скажем, в цикле «Осень 1978 года», в стихах о Соловках...

Я понял, что русская поэзия возникла в лоне православной культуры, что накладывает на нас, продолжателей её духа, большую ответственность. Поэтому мне всегда претили кощунство, эпатаж, которые, кроме прочего, ещё и признаки инфантильности. Я ценю два определения. Одно из них принадлежит Гоголю: «Слово есть высший подарок Бога человеку», а второе – одному из поэтов пушкинской плеяды. Суть его в том, что поэзия есть задание, которое нужно выполнить как можно лучше. Задание не государства, не общественной конъюнктуры – а задание *свыше*. Я всегда чувствовал другое – вне-жизненное, над-жизненное – измерение, в котором отчасти существует поэт.

– **Слушая Вас, возникает и крепнет предположение, что Вас Кто-то ведёт по жизни, выстраивает судьбу, ставит ориентиры...**

Думаю, что какое-то незримое руководство человеком в той или иной степени, безусловно, существует. Помните, Александр Исаевич многократно говорил, что в какие бы провалы жизнь его ни роняла, всё оказывалось на пользу. Надо только не отчаиваться и верить судьбе. Кажется, всё, идёшь по лезвию бритвы, а в итоге выходишь всё равно к свету.

– **Мне кажется, над этим стоит задуматься каждому молодому человеку, особенно выбравшему творческую стезю. Да, приметы времени существенно изменились, но жизнь не стала менее опасной и драматичной (если не сказать – трагичной). Просто опасности и угрозы другие...**

Думается, что тогда нам было легче, чем нынешней молодёжи. Потому что наш враг был зрим и ясен: цензура, тоталитарный режим – в противостоянии которому формировался характер человека, укреплялась сама поэзия, даже если говорить о чистой лирике. Характер, жизнь, творчество находились тогда в единстве. Это было совершенно иное время. В ту пору молодой человек мог броситься, к примеру, с головой в новый любовный омут, не имея ни своего угла, ни денег, а просто по чувству и в поисках свежих лирических впечатлений. Теперь, как замечаю, молодёжь живёт по-другому: она гораздо оглядливей...

А сейчас враг везде и нигде. Перед нами была бетонная стена, мы существовали в надежде пробить её, что в конце концов и случилось. А сейчас любое сопротивление уходит в какую-то пустоту, литератору сложнее сформироваться. Тем более что новые технотронные средства, связанные с компьютеризацией общества, тоже не способствуют рождению настоящей поэзии,



закалке личности. Сегодня за нахрапом юных поэтов чаще всего таится подсознательная растерянность...

### **Солженицын, Бродский и другие**

– Кстати, можно ли сказать, что роль Солженицына в Вашей жизни – тоже из ряда судьбоносных явлений?

Конечно, меня покорила его энергетика, именно под его влиянием сформировалось, повторяю, моё мировоззрение. Но, разумеется, не его одного. Вся русская *не освободительная* мысль оказала на меня определяющее влияние. Поз-

же я нашёл замечательное определение Василия Розанова – «литературные изгнанники». Так он называл Константина Леонтьева, Николая Стрехова, Николая Данилевского, Юрия Говоруху-Отрока и других замечательных авторов, которые оказались вне мейнстрима освободительной идеологии, с одной стороны, и кондового государственного консерватизма – с другой. И я чувствую себя именно таким литературным изгнанником.

– **Какую роль в Вашей жизни сыграл Иосиф Бродский?**

– Лишившись после солженицынского письма спокойной возможности работать искусствоведом, я стал «полудеклассированным» элементом: трудился на чёрных работах дворником, истопником, сторожем. Из этого тупикового состояния по большому счёту вытащил меня Бродский, с которым мы практически не были знакомы, но которому я в 1978 году нелегально переправил в Штаты свои стихи. Кстати, впервые я увидел Бродского ещё в 1965 году – вскоре после его возвращения из ссылки. Он читал стихи в маленькой, даже крошечной аудитории то ли Энергетического, то ли Бауманского института. Тогда мы собирали в шапку деньги ему на обратную дорогу в Ленинград. Стипендия моя была 32 рубля, но десятку я, конечно же, «отстегнул». По прошествии лет это вернулось ко мне в тыся-

чекратном размере – я имею в виду ту неоценимую помощь, в том числе и материальную, которую Бродский оказал мне, когда я оказался в изгнании.

Другая встреча – летом 1965 года. Евгений Евтушенко привёл Бродского в МГУ, они должны были вместе выступать в Коммунистической аудитории. Помню, вхожу во двор университета на Моховой. На ступенях цоколя памятника Ломоносову сидят Евтушенко, к которому выстроилась очередь девушек за автографами, а с ним – какой-то рыжий еврей, никому не нужный. Смотрю: вроде знакомое лицо – да это же Бродский! Кстати, телевизионщики снимали этот вечер, но когда стал выступать Бродский, все юпитеры погасли, в аудитории потемнело. Потом уже на выходе во дворе я со СМОГистами подошёл к Иосифу, и он черкнул мне телефон квартиры, где останавливался в Москве – в доме с аптекой напротив Тишинского рынка. Аптека сохранилась до сих пор. Она упомянута в замечательной маленькой поэме «Прощайте, мадемуазель Вероника»:

*...в дом с аптекой  
я приду пешком, если хватит силы,  
за единственным, что о тебе в России  
мне напомнит.*

На другой день мы увиделись, я читал тогда поэму «Летняя медицина», от которой не уцелело ни строчки. Бродский сказал, что есть в ней что-то от Заболоцкого. Так я впервые услышал имя поэта, которого теперь очень люблю.

Расскажу подробнее о своей первой книге. Как пишут русские романисты, шли годы... Где-то во второй половине семидесятых у меня набралось уже столько стихотворений, что я понял: необходимо увидеть типографское отчуждение творческого продукта. Надо было решать, что делать дальше, куда идти... С годами самиздат стал вселять ощущение неотчётливости сделанного. Я собрал лучшее – на мой взгляд – из того, что написал, переплёл и по нелегальным каналам отправил Бродскому.

Вскоре он по западному радио меня поприветствовал. А в небольшом, но престижном для нас, самиздатчиков, американском издательстве «Ардис» вышла моя первая книга, им составленная. Получив авторские экземпляры, я увидел, что туда включено несколько моих резких политических стихотворений,

и понял, скорее с облегчением, чем с опаской, что вскоре жизнь моя опять как-нибудь, да переменится.

– В конце семидесятых годов Вы приняли участие и в неподцензурном альманахе «Метрополь», который тогда надедел много шума...

Году в 1978-м один из приятелей сообщил, что меня разыскивает Василий Аксёнов. Я встретился с ним, помню, на ступенях Центрального телеграфа, он был в белом плаще и широкополой шляпе – одежда всегда выдавала в нём подчёркнуто несоветского франтоватого человека. Василий Павлович предложил мне участвовать в альманахе «Метрополь», который тогда формировался. Так я познакомился с головкой советской и одновременно оппозиционной литературы: Искандер, Битов, Вознесенский, Ахмадулина... Возможно, из-за участия в «Метрополе», который имел на Западе немалый резонанс, меня не посадили тогда, хотя тучи надо мной заметно сгущались.

– Почему?

По многим причинам: я подчёркнуто не держал язык за зубами, подписывал письма правозащитного характера, наконец, стал широко печататься в зарубежных антикоммунистических изданиях, таких как «Вестник христианского движения», «Грани», «Континент» и т. п. Вообще стал позволять себе вещи, которые по тем временам казались, считай, безумием.

Например, на Бульдозерной, кажется, выставке случайно узнал от своего старого приятеля Вадима Делоне, что мои стихи напечатаны в журнале НТС «Грани». И там якобы платят гонорар. А надо сказать, что Народно-трудовой союз считался в Советском Союзе чуть ли не террористической эмигрантской организацией. Тем не менее я нашёл адрес «Граней» и написал в редакцию, что мне стало известно о публикации. Поблагодарил. Не скрыл своего стеснённого материального положения. Отправил послание заказным письмом. И получил-таки гонорар! Через Внешторгбанк. Не в долларах, конечно, а в чеках. На эти деньги в «Берёзке» купил, помню, комплект постельного белья, лимонной водки, которая была выпита с друзьями.

Я словно экспериментировал, насколько советскому человеку можно раздвинуть границы своей свободы. Конечно, это всё не могло не раздражать КГБ. Но, оказывается, при советской власти можно было зайти довольно далеко, во всяком случае в Москве, в провинции, разумеется, меня бы, наверное, давно сгнобили.

## **В Зазеркалье и обратно**

– **Однако терпение властей лопнуло...**

В январе 1982 года на Крещение ко мне пришли с обыском, который продолжался несколько часов. Были найдены авторские экземпляры американского сборника и заграничные журналы с моими публикациями. Среди ночи привезли меня на Лубянку и гуманно предложили на выбор: лагерь или отъезд.

В пять часов утра 3 октября того же года я выехал из своей хрущобы в Апрелевке.

– **Что значит «выехал»?**

Отправился на электричке в Москву. Далее на метро, на автобусе – в Шереметьево.

– **А билет на самолёт у Вас был?**

Это отдельная история. С билетом мне помог Василий Аксёнов. Эмигрировав за год до того, он как-то узнал от Жени Попова, что происходит, направил меня к вдове писателя Бориса Балтера Гале, и она дала мне денег на билет и другие пред-отъездные расходы.

– **Итак, Вы прилетели в...**

...В Вену. Там меня встречают журналисты с цветами. Потом – шестикомнатные академические хоромы, эдакий перевалочный пункт для диссидентов с именем. Всё устроил опять же Бродский, который когда-то сам жил здесь, а потом Лев Копелев, Ефим Эткинд и другие.

В Вену мне прислал письмо Александр Исаевич, который, оказывается, прекрасно помнил, что я выступил в его поддержку. Он не поленился, нашёл старую записную книжку, где было моё имя и даже московский адрес: улица Космонавта Волкова, 13, квартира 24. Главное: не волнуйтесь, писал Солженицын, через восемь лет вернётесь в Россию.

Угадал год в год. Ровно через восемь лет я вернулся. А тогда только-только пришёл к власти Андропов. Никто не знал, что он болен. Думали, что его хватит лет на 10–15. Но уже через четыре года, после того, как я оказался на Западе, вдруг начались эти «гонки на лафетах» – похороны генеральных секретарей...

При Горбачёве меня стали публиковать в России. Первая публикация – в журнале «Знамя» благодаря Владимиру Лакшину. А в конце 1989 года я вернулся и все 90-е из страны вообще не выезжал. Как говорится, был «тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», по слову Анна Ахматовой.



Даже у космополитичного Бродского в позднем творчестве заметно выветривание поэтической породы. Я имею в виду его стихи последних лет жизни из сборника «Пейзаж с наводнением».

**– Я ещё хотел бы спросить: как пишутся стихи в эмиграции, есть ли какие-нибудь особенности? Ведь зарубежье, особенно страны Западной Европы, казались тогда нашим соотечественникам каким-то Зазеркальем...**

Новые мощные впечатления – соответственно новые поэтические задачи и решения. Если прежде я был весь сосредоточен на России, то теперь почувствовал себя таким Версильевым из «Подростка» Достоевского, оплакивающим «священные камни Европы». Европа, конечно, была другой, чем сегодня, но мои тревоги, как показало время, имели свой вещий смысл: невозможно выстроить прочную цивилизацию исключительно на идеалах потребления – без ясных духовных скреп.

И если бы речь шла о собрании моих стихотворений, то мне хотелось бы видеть его в трёх томах: первый – всё написанное до эмиграции, второй – на чужбине, третий – с момента возвращения по настоящее время. Причём зарубежный был бы потоньше, потому что охватывал бы всего восемь лет. И он резко бы отличался и от того, что было до этого, и от того, что теперь – по языку, по метафорам...

К тому же стихи на чужбине становятся всё умозрительней, потому что нет ежедневной подпитки от родной земли, от родной речи. И, очевидно, поэтому в поэзии что-то выхолащивается, намечается омертвление слова.

Даже у космополитичного Бродского в позднем творчестве заметно выветривание поэтической породы. Я имею в виду его стихи последних лет жизни из сборника «Пейзаж с наводнением». Казалось бы, он женился, наконец, на красивой, молодой, породистой итальянке русского происхождения, у него родилась дочь, благодаря Нобелевской премии были решены финансовые проблемы. Его не мучили долги, как мучили, скажем, позднего Пушкина. Ему было всё доступно. И тем не менее по некоторым, да по многим, стихам Бродского видно, что нередко это какие-то руины, и тепло в них наскребается по сусекам. Почему происходит такое выветривание? Думаю, в частности, ещё и потому, что поэт перестаёт ежедневно общаться на родном языке.

Слава Богу, у меня такое происходило недолго. Я вернулся в Россию и неожиданно начался, может быть, самый непростой в моральном отношении отрезок жизни.

### **Рядовой вопросец «За что боролись?»**

Почему мы, инакомыслящие (я не люблю слово «диссиденты», я был, конечно, *инакомыслящим* в отличие от тех, кто принимал господствующую идеологию), хотели перемен? Ради морального воскрешения России в первую очередь. Конечно, всем надоели идеологическая дань, запрет говорить о репрессированных, постоянный дефицит всего... Но главное – мы устали от ежедневной мировозденческой лжи, лицемерия и двойной морали.

И вдруг, вернувшись в Россию, я увидел, что вместо чаемого нравственного возрождения царят бесстыдство, разграб, какого не вспомнить во всей истории человечества, разве что разорение Византии. Но тогда разоряли пришлецы, а тут всё делали как бы свои, да ещё под разговоры о демократии. Помню, шли с другом по привокзальной площади в Рыбинске, а из ресторанных окон несло: «Воруй, воруй, Россия...» – шлягер тех лет. К тому же и реальную потерю государственного суверенитета я воспринимал очень лично, как собственное оскорбление.

– Этот мотив нередко звучит в Ваших книгах. Например, в стихотворении «Болшево»:

*Мотыльки, летевшие на свечу,  
обожглись, запутались, напоролись.  
Вот и нам сегодня не по плечу  
рядовой вопросец «за что боролись?»*

А больше всего меня болезненно задевало, что многие интеллигенты, которых я знал лично или уважал заочно, на расстоянии, теперь идеологически поддерживают эту трясику, которая затягивала Россию, считая, что таким образом страна возвращается в цивилизованное мировое русло. Неужели не видели, что укрепляется олигархический воровской режим? Такие авторитетные фигуры, как Мариэтта Чудакова или Ирина Роднянская, называю первых, кто приходит на память, наивно видели в «младореформаторах», или, как их метко окрестил народ, «чи-кагских мальчишках», – надежду России.

– **Насколько я понимаю, некоторым властителям дум казалось: пусть будет всё, что угодно, лишь бы не коммунизм, страшнее которого ничего не бывает.**

В 1994 году вернулся Александр Исаевич. Мы с ним дважды разговаривали на первом телевизионном канале. Но по личному распоряжению Березовского солженицынский проект был закрыт. Вот говорят: в те годы была свобода, а сейчас «кровавый путинский режим» и цензура. Великого писателя тогда прервали на полуслове, абортировали его передачу, и никто не пикнул...

Этот третий период моей жизни, самый насыщенный, безусловно, потому что я обрёл здесь новую семью, много написал и... заметно повзрослел. Оказалось, что я из тех, кто довольно поздно взрослеет. Ведь на самом деле и в сорок лет во мне было много горячности идеализма или, если угодно, инфантильности.

– **Поэту, творческому человеку это не всегда противопоказано. Мне почему-то вспомнился Мандельштам...**

Мандельштам вообще особый случай. Я до сих пор не могу понять его эсэртства или симпатизанства советизму, одновременно с омерзением к нему же.

– **Возможно, это родовые пережитки освободительной идеологии... Однако, несомненно, у каждого человека свой срок повзроslения.**

Конечно. Скажем, Бродский очень рано стал взрослым – лет в 16–17... А в поэзии даже с самим процессом написания стихов по мере увеличения возраста автора начинают происходить определённые метаморфозы. Я за этими переменами пристально слежу. Мне сейчас 68 лет. Большинство русских поэтов до этого возраста вообще не дожили. Среди тех, кто дожил, Афанасий Фет, и писал он в преклонные лета очень неплохо – например, стихи, составившие в книгу «Вечерние огни». Но всё равно это упадок – по сравнению с тем, что он создал в 40–50 лет.

С возрастом вдохновение становится теплохладнее. Если в молодости любовь или пейзаж – да всё, что угодно, может стать детонатором и по слову Пушкина: «Минута – и стихи свободно потекут», – то в годы преклонные стихотворение нередко подолгу обдумывается, с перерывом возникают отдельные образы, и создаётся оно часто не спонтанно за несколько минут, как это было прежде, а пишется в течение двух, трёх, а то и четырёх дней.

Не могу судить, утратила ли моя поэзия свежесть, но кажется, что мне всё-таки удалось в последние годы найти какую-то

новую интонацию. Может быть, за счёт того, что часто стал писать белым стихом. Это, однако, не было обдуманым волевым решением – вообще в поэзии, в стиле, я считаю, никогда не надо принимать насильственных волевых решений. Новые ритмы нашли меня сами. И вот за счёт этой неожиданности, надеюсь, что мои сегодняшние стихи – это настоящее, а не высосанное из пальца. Помните, у Баратынского в «Сумерках» есть стихотворение «Последний поэт»? Нередко я себя ощущаю таким «последним поэтом» – последним поэтом христианских смыслов.

– **Может быть, это нормально, что в разном возрасте пишется по-разному. Тут не могут не сказываться изменения в физиологии, темпераменте, интеллекте сочинителя. Что-то утрачивается: свежесть восприятия, непосредственность... Что-то приобретается: мудрость, глубина мысли, широта взгляда...**

Да, конечно, так оно и есть... Меня ещё спасает то, что я не сижу на стихотворчестве, как на игле. У многих моих коллег, если они месяц-полтора-два не пишут, начинается настоящая «наркотическая ломка».

– **Неужели такое бывает? Никогда не слышал...**

Представьте себе... Им начинает казаться, что они зря живут на свете, счастья нет, нет ни покоя, ни воли... Слава Богу, мне есть чем заниматься помимо поэзии. Конечно, когда пишутся стихи и сразу после – это наивысший момент счастья. Но я полноценно живу, когда не сочиняю, допустим, полгода. Я не начинаю беситься, если не приходит вдохновение. Пишу только тогда, когда не могу не писать.

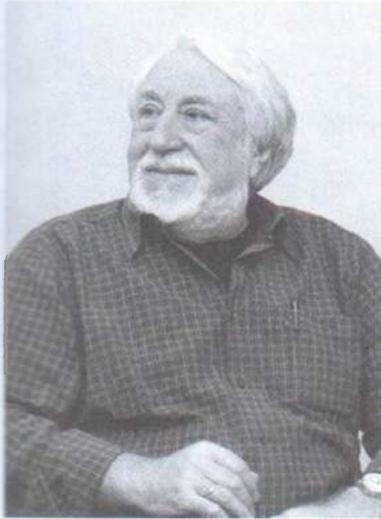
Да и что такое счастье? Как однажды заметил Тютчев своей супруге: «В жизни много прекрасного и помимо счастья».

### **Без самоцензуры**

– **В «Новом мире» и других журналах время от времени появляются Ваши «Записи». Как возник этот замысел?**

С 1987 года веду дневниковые «Записи», которые, может быть, станут авторским свидетельством всего, что случилось с Россией и со всеми нами с 90-х годов и по настоящий день.

– **Здесь важны подробности, характеристики, многозначность явлений, сложность авторского отношения к людям, даже таким великим, как Солженицын. И это нормально. Потому что гения часто «бывает много», и это не может не**



**раздражать... А не говорить об этом – похоже на культ личности.**

Драма Александра Исаевича в том, что практически остаётся непрочитанным «Красное колесо». Помнится, что когда-то в одном из западных интервью он говорил как о само собой разумеющемся: когда Россия освободится от коммунизма, может быть, после моей смерти, мои тексты потекут у неё по жилам, их будут читать, читать и читать...

Ему и в голову тогда не могло прийти, что книжную культуру в сжатые сроки заменит текст на экране. А ведь это совсем не то, что текст на странице. Я, например, не могу с экрана читать стихи – их там

просто не вижу. Для меня любое стихотворение – это и шрифт, и поля, и название, и посвящение, и дата, и даже качество бумажной страницы. А на экране я этого ничего не вижу, там всё стандартизировано, усреднено, обезличено и бесполо. Кроме того, компьютерная паракультура исподволь фрагментирует сознание, и оно уже не способно воспринимать объёмный повествовательный материал.

– Однако, на мой взгляд, в литературе ситуация гораздо лучше, чем, например, в кино. Там победа коммерции полная и повсеместная – за редчайшими исключениями. А ведь ещё не так давно какие фильмы снимали... И кто снимал – Феллини и Антониони, Висконти и Бертолуччи, Бунюэль и Куросава, Бергман и Фассбиндер, фон Тротта и Янчо, Вайда и Занусси, Тарковский и Хуциев...

– Да, сейчас кино – чистый бизнес... Меня в своё время поразила наивность Андрея Тарковского. Я тогда работал на радио «Свобода» и был первым, кто взял у него интервью в отеле «Рафаэль», когда он приехал в Париж из Флоренции. Я его всё допытывал, что заставило его совершить этот шаг – после съёмок за рубежом не возвращаться в СССР? Он сказал: «Мне не давали работать Бондарчук и Ермаш. А на Запад я приехал в поисках свободы, здесь я смогу делать всё, что захочу...» Но я к тому времени уже некоторое время прожил на Западе и понимал, что это – иллюзии. Подумал: «Ермаш даже давал тебе переснимать фильмы, например, “Сталкера”, а здесь кто позволит подоб-

ное?..» Возможно, он заболел раком, потому что после «Жертвоприношения» стал догадываться, что попал в золотую клетку, из которой нет выхода... В современном упадке кинематографа роковую роль сыграли две вещи: культурное измельчание новых поколений и компьютеризация киношного творческого процесса.

– В недавно вышедшем Вашем сборнике «Неисправные времена» особенно ощутима неуверенность в будущем, будто почва уходит из-под ног... И это самочувствие свойственно, думаю, многим Вашим ровесникам, у которых возникают всё новые тревожные вопросы. Например, что будет с нашими домашними библиотеками после нашего ухода? Нужны ли книги детям и внукам, которые читают преимущественно с экрана компьютера? Всё чаще можно видеть книги, брошенные не стыдливо в подъезде, а прямо в мусорный контейнер...

Я тоже всё время думаю о судьбе наших библиотек, собиравшихся всю жизнь. А дневники стал вести ещё и потому, что многое из того, что не вместилось в мою поэзию, кроме меня, никто больше не сохранит, а мне жаль уносить это с собою.

– В «Записях» интереснейшие свидетельства о времени, о современниках – людях, как правило, известных. Не с точки зрения скандальности, сплетен, а с точки зрения объёмности, многогранности, сложности человеческих отношений, мотивов поступков...

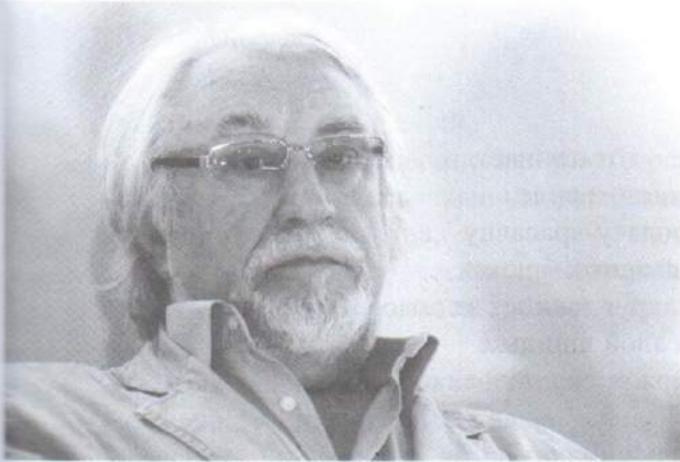
Там говорится о десятках и десятках людей... Хотя в конечном счёте я пишу о себе, и характеристики, которые я даю, характеризуют прежде всего меня самого, моё восприятие событий, современников и явлений культуры.

«И с отвращением читая жизнь мою»... – помните, писал Пушкин. Видимо, у меня ослаблено чувство греха – во всяком случае о своей жизни так покаянно я не могу сказать, но одно замечу себе в оправдание: никогда и ничего не делал я в целях самоутверждения и корысти, и в этом отношении моя поэзия перед потомством чиста.

– И всё же, какой видится Вам поэзия будущего?

По точному определению Пастернака в стихотворении «Август» поэзия – это «образ мира, в слове явленный». Каким будет мир, таким и поэтическое слово о нём.

*Беседу вёл Александр Неверов*



## Юрий Кублановский

\*\*\*

### *Памяти российской Одессы*

Страшное дело,  
когда под нажимом насильственных обстоятельств,  
начинаешь жить не своею,  
оплебеенной, пригнетённой жизнью –  
как это случилось с Одессой.

Помню, лет тому уже двадцать:  
шёл по Дерибасовской, чьи фасады  
были в жовто-блакитных стягах,  
так повешенных, что казалось,  
что вот-вот заденешь их головою,  
бормоча вполголоса: *мародёры*.

А теперь, когда сгорели заживо люди  
там – под улюлюканье западнцев  
в сумерки, темневшие поминутно,  
как ступить нам на её мостовые,  
как войти за городом в море  
Чёрное, топазового оттенка?

Вдруг нырнёшь и увидишь те же  
золотистые неровные огонёчки,  
уходящие

ступеньками  
в толщу...

Никогда они не погаснут.

\*\*\*

Кто живёт на севере – тот не знает,  
что такое лирика в чистом виде,  
когда пожилому бородачу-красавцу  
с лампасами на просторных брюках  
девушка, отступив, вдруг закинет за поясницу  
промельком ногу на алой шпильке  
при взрывной поддержке скрипки аккордеоном.

Не догадывается живущий на юге,  
как пахнет на холоде лисья шапка  
встреченной на северах подруги,  
ледяной щеки молодая кожа,  
алкоголем тронутое дыхание –  
когда окрест индевеют ветви,  
становясь мохнатее ближе к ночи.

Но любовь – она ведь одна такая,  
в двух словах о ней не расскажешь,  
не откроешь третьему её тихих  
потайных пружин и наитий.

Старый ключник её, воитель  
в шатком гнездоподобном кресле,  
сцепив на закривке пальцы,  
смотрит на законный ветер,  
в тёмных листьях набирающий силу...

\*\*\*

*Е. Т-Г.*

Ослепительные клубы облаков  
с тёмным подбрюшьем,  
исподволь меня конфигурацию,  
громоздятся над головой  
и, кажется, грозят обрушеньем.

Но есть лиственная скиния –  
прибежище одиноких –  
во дворике у Арбата,  
пронизанная осколками света.

Там полтавский гений,  
внешне схожий с воинственным Сирано,  
монархист, расслышавший приближенье  
сапогов разночинца,  
пригасивший творческий дар аскезой,  
статья, вещей охвачен дрёмой.

А патина кажется маскировкой,  
наведённой с неясной целью  
на лицо и пелерину крылатки.

Ну а мы, беспечные воробьишки,  
у подножья притулились на лавке  
почирикать о том,  
что уже *при дверях*, Елена.

*1.VIII.2015*

#### **От верховий до дельты**

Детям верховий,  
приграничных северо-западу,  
заросшему непроглядным ельником,  
иван-чаем и лебедой,  
дельта Волги кажется чем-то недосягаемым,  
нереальным – за пеленой.

По крупицам впрок добывая сведения,  
проникая вглубь, не сминая гладь,  
как рыбарь, вытаскивал тощий бредень я.  
Вот немного, что удалось узнать.

Там короновался Велимир Астраханский.  
И хотя свои не щадил войска,  
его любили солдаты,  
скифы, верней, сарматы,  
даже когда крутили  
указательным у виска.

*Сентябрь, 2015*

### Сомнение

*А. Мальгину*

Астронома, объясняющего наше происхождение  
в результате Большого Взрыва,  
в общем-то делом случая,  
распрашиваю за рюмкой:  
*что взорвалось и где?*

Менжуется, отвечает обиняками,  
машинально разглаживает скатёрку

и, круто переводя разговор, сообщает,  
что наша Галактика  
столкнётся с туманностью Андромеды,  
правда, через три миллиарда лет,  
но уже никак им не разминуться.

Не скоро, а всё равно жутковато.  
И как ещё не принять на грудь?

...Назавтра, потряхивая седыми космами  
в малолюдном с вкраплениями огонёчков храме,  
поминальную ставлю свечку,  
старик, не умеющий совместить  
веру и астрономию,  
загробную жизнь –  
с зашкаливающей  
холодрыгой вселенной.

А у нас в осеннем тумане сизом  
пахнет сад антоновкой и анисом.

*Январь, 2016*